



София
Юзефпольская-Цилосани



Страницы

София Юзефпольская-Цилосани Страннствия

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21382724
Страннствия: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2016
ISBN 978-5-00098-054-5*

Аннотация

София Юзефпольская-Цилосани – доктор философии, поэт, переводчик, литературовед. Член СПб ГО Союза писателей России и ОРЛИТА (Объединение русских литераторов Америки.)

Родилась в Самаре, жила в Ленинграде, училась на филологическом факультете в Институте им. Герцена. В 1989 году эмигрировала. С 1990 года жила в Сиэтле, США, где растила четырех детей, училась в аспирантуре и преподавала в Вашингтонском университете. В 2005 году защитила диссертацию об Арсении Тарковском. С 2013 года живет в Нью-Йорке, США.

Автор сборника стихов «Голубой огонь» и книги об Арсении Тарковском «The Pulse of Time: Immortality and the Word in the Poetry of Arsenii Tarkovski».

Содержание

Поэты, прозаики, художники, музыканты о книге «Странствия»	7
Вызываю тебя, дух облупленной детской вещи!	16
«Поэзия есть вещество, имеющее вкус...»	16
Пробуждение	17
Лия	18
Звездочка	19
Дверь	25
«По горячим, расплавленным, белым...»	26
Лесенка	27
Из теплых пирогов	28
Маленькая Кассандра	30
Крым	31
Пастернаку	32
Daimon	34
В Петербурге	36
Мой – до дыр	38
«Легкое дыхание разлук...»	40
Речь	41
Гансу Христиану Андерсену	42
Карлсон	47
Собеседники	48
«О я совсем, совсем не сноб...»	51

«Под мостовой, под каждым камешком – нагой...»	52
Гербарий	53
Жизнь-малышка	54
Щелкунчик	55
Еврейский оркестр	56
Чарли	56
Клезмер	57
Имя	59
Конармия	62
Рембрандт	64
Конец ознакомительного фрагмента.	65

София Юзефпольская- Цилосани Страннствия

© Юзефпольская-Цилосани С., текст, 2016

© «Геликон Плюс», оформление, 2016

* * *

Маме, папе, Сани, детям

*Моя особая благодарность Юлии Резиной,
Михаилу Богомолу, Ксении Корол, Алле
Стайнберг и Виктору Давыдову за помощь в отборе
стихов, ценные советы в редактировании и выборе
названия для этой книги, за бесценную поддержку
друзей.*

*Я видела так много камня, так много моря,
волны шипучей.*

*Я видела звезду в подоле, зашитом тьмою, но
было лучше,*

*Когда светил из абазура мне на страницу
Лишь ангел сказки, по книжке лучик – водил
мизинцем.*

В судьбе с огромностью суровой, суровой нитью

*Не шить страницу: все то, что в слове – здесь
воплотится.*

*Я видела так много горя – в нем много света.
Я видела себя – такую, которой нету
Предела, видела пределы в творенье божьем,
И Господа – сквозь дебри плоти – в любом
прохожем.*

Поэты, прозаики, художники, музыканты о книге «Страннствия»

Юлия Резина, Москва, Нью-Йорк:

Первое знакомство с поэтическим миром Софии Юзефпольской-Цилосани остается впечатляющим драматическим чувством крушения привычных пределов обжитого пространства. Оно сравнимо разве что с провалом в бездну без дна иной мерности во время беспечной летней прогулки, когда замечательный пейзаж василькового поля и такого четкого близкого леса за ним оказывается иллюзией, безупречным миражем. Поэтический поток невероятной мощности, еще не дифференцированный, доречевой гул стиха подхватывает и несет тебя от строки к строке, делая свидетелем, соучастником, сотворцом появления словесной поэтической ткани. Часто процесс кажется бесконечным, поскольку ощущение времени утрачено, а невероятность образов, аллюзий и метафор вымывает, выносит на поверхность из подсознания давно забытые впечатления времен Андерсена и Гофмана – твоих первых детских опытов восторга, страдания и сострадания... Катарсис... Объемное впечатление, видение стихотворения приходит потом, при возвращении – импульс появляется сразу: острая необходимость понять явление... Так при рассмотрении картин пуантилистов необходимо сде-

лать шаг назад, чтобы увидеть.

София – сложный поэт, со своей философией, мировоззрением, напряженным духовным опытом. Со своим уникальным, узнаваемым поэтическим почерком, не похожим ни на один другой. Далеко на периферии, возможно, проступают тени О. Мандельштама, М. Цветаевой, Арсения Тарковского, скорее как отзвук работы над докторской диссертацией. Ее поэзия имеет качество стихии, охватывающей все проявления жизни и ее метафизику, и более всего ассоциируется с композиторским творчеством. Далеко не случайно у нее столько стихов о музыкальных произведениях и композиторах. Невероятно, что в этих стихах Софии не только удастся передать свое чувство, впечатление от музыки, но и делается дерзкая попытка воплотить в слово ее содержание. Судите сами. Фрагмент стихотворения Шопен:

Оркестров осенних новатор,
чьи окна ты ветром откроешь,
кузнечик? В твоих анфиладах
одно бесконечное стадо
из листьев ничейных – стократно
скользишь по скале листопада.
– Не надо спускаться, не надо
за смыслами, алою ватой
свой лоб обложивший риторик!

Я полагаю, что поэзия Софии не вполне современна. Ско-

рее, она принадлежит будущему времени. Не исключаю, что эта книга, которую вы сейчас держите в руках, когда-нибудь станет раритетом.

Попробуйте открыть ее с этим чувством, погружайтесь в нее постепенно, освобождаясь от уже привычного птичьего языка эсэмэсок и Интернета, возвращая «нежный вкус родимой речи», удивления, ошеломленности словом.

Татьяна Шереметева, Москва, Нью-Йорк:

У этой женщины синие глаза и темные волосы. У нее четверо детей и докторская степень по литературоведению. Крайне напряженная внутренняя жизнь и впечатляющие профессиональные успехи. Свои стихи она читает сбивчиво, волнуясь и не всегда поспевая за ними. Первое же впечатление ошеломляет, ты понимаешь, что перед тобой явление.

Наверное, жизнь любит этого поэта (а София относится к тем авторам, кого невозможно назвать «поэтесса»): она разрешает близко подойти к тайному, рассмотреть скрытое, понять непостижимое.

Ее дарование напоминает долину гейзеров. Мощное бие пульса выталкивает на поверхность горячие всплески стихов, а где-то в глубине тем временем происходит главное – звуки, слова и жесты, краски и ароматы, сны и воспомина-ния переплавляются и становятся горячим, питающим творческое вдохновение.

София Юзефпольская-Цилосани говорит с миром. Ее

мир особенный, там есть место прошлому и будущему, великому и очень простому, взрослому и детскому, зачастую почти невидимому, всему тому, что исподволь, часто незаметно, творит жизнь.

Ее собеседники не только Мандельштам и Цветаева, Шопен и Ван Гог, но и собаки, дети, кошки, цветы, птицы, люди и, наконец, стихи (ст. «Собеседники»).

Сложнее всего с людьми: «Впрочем, об этом мне очень мало известно».

И эта деликатность поэта, много знающего и понимающего-го «про людей», необыкновенно трогает.

Ну и самое болезненное из вышеперечисленного – стихи. Это они заставляют автора «выкраивать из своего бумажного сердца всем давным-давно известные истины».

Обреченность мудреца и мужество поэта, пристальный взгляд на нашу общую, проживаемую нами «здесь и сейчас» жизнь и на то, о чем редко говорят, предпочитая сказанному прочитанное...

Первый сборник стихов Софии назывался «Голубой огонь». У этой книги счастливая судьба и удивительное название. «Голубой Огонь» – это стихи, уже написанные и те, которым еще предстоит родиться.

«Голубой огонь» – это поэт. Поэт София Юзефпольская-Цилосани.

Максим Перминов, Москва:

Сказавший: «Стихи – это лучшие слова в наилучшем порядке» обманул всех. Стихи – это другое! Они – горшочек из-под меда и лопнувший воздушный шарик. Случайные слова в счастливом порядке – вот что они такое! Ваш день рожденья только тогда настоящий – изнутри обновляет вас, когда в ваш уголок леса Пух и Пятачок, запыхавшись, приносят эти дары, а не что-то «лучшее» и «наилучшее». Это я, держа в уме мандельштамовское: «Что верно об одном поэте, верно обо всех», говорю о стихах Софии Юзефпольской-Цилосани, авторе, чьи стихи обновят, думаю, любого, кто их проживет. Смотрите-ка, как они входят в одну строчку, выходят из другой и входят в третью – образы, самые неожиданные и фантастические, обороты, самые горячие (горячительный – так хочется сказать о поэтическом синтаксисе Софии) и рожденные вот только что, пока вы на них глядите...

И горбится, как старых школьных парт,
наклон чернильных улиц, им не к спеху
за поворот... Там кривизна путей
горбата так же и крепка, как мост над бездной...
Намыливает пену бровей
на скулы полушарий – миру тесно
в замерзшем марте, словно маме в букварях
всеобщих праздников
с цветком и тряпкой в раме...

Успейте это прожить – и то обстоятельство, что стихи Со-

фии культуроцентричны, симфоничны, философски насыщены, вы оцените в одиннадцатую – почетную, конечно, но все-таки одиннадцатую очередь. В первые десять вы – свидетель словорождения, самого процесса словорождения – жаркого, стремительного, более живого, чем жизнь. Случайного – и всегда счастливого.

Алла Стайнберг, Одесса, Нью-Йорк:

София Юзефпольская-Цилосани – поэт с не просто удивительным поэтическим голосом, а с удивительным поэтическим многоголосием... Каждое ее стихотворение, да что там стихотворение – каждая строчка, даже само слово – наполнены удивительным смешением значения и звука. Всегда непредсказуемым. Всегда неистощимым. Ее поэзия – это многоводная река, половодье. Река с широкими поймами и извилистыми руслами. Она может литься-разливаться полноводно и спокойно – а может бурно бурлить в узких ущельях, стремительно мчаться мощным потоком и спадать в пропасть ниагарским водопадом... Это водоворот. А поэтому – и ПАР, и исПАРение, и ПАРение... А значит, живительный – освежающий, очищающий – дождь. Иногда – то ли ливень, то ли морось, иногда – то ли снег, то ли град. А иногда – просто роса, чистая как слеза...

Сергей Тенятников, Лейпциг, Германия:

(О книге Софии Юзефпольской-Цилосни «Страннствия»)

Будто сидишь на пропитанном солнцем камне, смотришь на морщинистую кожу океана, под которой живет мир по неведомым тебе правилам. Линию горизонта поднимает парусник, точно всплывшая из прошлого бутылка с посланием на забытом человечеством языке. И все хорошо и нежно, но неожиданно из глубины вздымается хребет то ли кита, то ли проснувшегося вулкана, чтобы через мгновение раствориться в пересоленной воде и оставить читателя наедине с не постижимым переживанием того, что только что произошло. Но то, что это с ним случилось, – он знает наверняка.

Елена Фильштинская-Бурвел, Харьков, Колумбус, Огайо:

В поэзии Софии Юзефпольской-Цилосани есть простое и сложное, видимое и невидимое, осязаемое и неосязаемое, музыка и шум, гармония и разрушение. Это поход по горной тропе, устланной нагромождением горных глыб, трудный подъем вверх... И вдруг озарение, огромное, дух захватывающее пространство, Храм под открытым небом, где Птица – бог и Тишина – хозяин. И она, София-художник, София-поэт – маленькая слуга огромного мироздания, несущая нам через свою поэзию магию Космоса.

София – не танцор, не живописец, не музыкант... Но своей вездесущей поэтической душой она проникла в тончайшие нюансы этих искусств и создала своеобразную симфонию, написанную словами. Рахманинов в ее стихах звучит по-рахманиновски и Шопен – по-шопеновски. А Плисецкая

исполняет лишь ей присущий танец.

И в движении рук по кругу
По сцене течет орган.
Майя Плисецкая никогда не танцует
Милых нимф, нимфеточек, дам.

Майя Плисецкая никогда не станцует
Жизель. Танцует – Жизнь!
Дух и правда – не могут сойти с ума.
Лебедь есть путь,
Есть – мысль.

Павел Голушко, Минск, Стокгольм:

Нельзя сказать коротко о творчестве Софии Юзефпольской-Цилосани...

Если в вашей жизни не было расставаний или вы привыкли к пустым фантикам многих современных авторов, отложите эту книгу – она не для вас.

Эта книга – для думающего читателя, не разучившегося мечтать, гордящегося самостоятельностью своего существования в этом мире.

София позволяет читателю быть рядом, показывает ему происходящее и в то же время разрешает каждому видеть и оценивать его по-своему, это дорогого стоит...

«...Гербарий засушить, разгладить утюгом, живя в календаре осеннего распада...»

Часто взгляд замирает на ее строках, мысль рисует образы пережитого тобой, и ты понимаешь, что тебе дана возможность вернуться на миг в юность. Вспомнить, что твои детские мечты исполнились, а ты вырос и принял их как должное.

Мне все мечталось: утонуть, забыться, сгинуть,
напрасно:
мы собой меняем берега.
Как календарную страницу перекинуть,
так просто время распахнуть, струясь через века.

Так переверните эту страницу и наслаждайтесь образами.
И не скрывайте слезы, не стесняйтесь их...

Вызываю тебя, дух облупленной детской вещи!

«Поэзия есть вещество, имеющее вкус...»

Поэзия есть вещество, имеющее вкус.
И ветер. Вес Слезы – над полем, знак – за знаком;
толчок судьбы – под дых, дрожанье слабых рук
твоих, держащих мир невнятности, и маков
шершавую волну, и розу, как зрачок
небесного колодца – дно незримо
сквозь плеск от звездных крыл... На ножке мотылек —
в единственном числе солдатик-балерина
несет свой рок. Свой срок. Фонарь горит...
В нем оловянный дым – в пробирке-стебелечке.
В нем варятся мозги. И несказанный свет.
И запах гари пробивается – сквозь точки.

Пробуждение

Мир зеркален, и все так чисто,
так прозрачно – рукой не тронешь:
отражает улыбку листик,
отражают огонь ладони.
Отражаются пули свистом
птиц небесных; дробится ультра —
звуком цвет —
и на вкус ириской,
под язык – все что жгло и смутно,
нудно память твою давило
и держало в стекле, как из сетки,
потечет, станет утро синим,
станет мир твой нагим и ветхим.

Ветер створки судьбы откроет,
заскрипит у шарманки ручка.
Полость осени листья кроют,
словно стеклышки в калейдоскопе,
ты ж – послушник,
о нет – подслушник
их зеркальных осенних штучек,
тихих маршей, смешных историй.

Лия

Лет двадцать я в пустыне прослужила
колодцем – черни, на цепи – для жаждущих – бадья.
Услышь меня, мой верный судия:
твой старый Яков все слюбил с меня,
своей неизбранной и по-собачьи верной Лии.

Детей произвела, вела бюджет
семейный и народный, в год – по сыну.
но от химер пустынных, от теснины
шатровой, маеты преклонных лет

меня спасал всегда сестрицын голосок
из леденца под язычком, так жгуч и тонок:
колодец, обратившийся в потоп
из звездных, теплых незабвенных первых слов:
– Рахиль, Рахиль моя, совсем еще ребенок.

Звездочка

С. Ц.

Некоторые печальные рыцари до сих пор принимают ее бледный лик за отраженье гордого величья луны.

- звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
- мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой
- девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя

1

Звездная россыпь; младенческих скрипок из-под окон ее детской памяти, из-под полозьев радужных санок – звездочки крошечных колокольцев сквозь вой метелей по волжским просторам – в глазах плавает красный туман советских елочных звезд в паре дыханья из замороженных парков русской зимы ее детства —
там – всплески открытых, пронзительно-ярких красок:
– звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
– мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой

– девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя

Чудные спектакли звездных снежинок, поющих на
театральных площадях Петербурга – грациозно, нежно
летающих сквозь волшебные фонари, сквозь
млечный путь гласных, согласных, галактики
русских стихов, обнаруженных еще ранее
в шуршащем мраке гниющей, съежившейся осенней
листвы
желто-черных полутонов русского декадентства,
там – всплески открытых, пронзительно-ярких красок:
– звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
– мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой
– девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя

2

Кровянистые звездные иглы
бабушкиной рубиновой брошки,
пришпиленной к белой груди
первого бального платья – первая
кровянистая, беззвездная ночь
бледно, тупо и равнодушно взятого,
онемевшего тела,
та – всплески открытых, пронзительно-ярких красок,
плачут тени:

- звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
- мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
- девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя

3

Звезды молочных капель из бряцающего бидона
Тевье молочника под тусклым слабеньким светом
прикроватного ночника – над постелью моего
одинокчества

Блуждающие звезды Шолом-Алейхема, звезды,
забродившие кровью предков, выжатые из каждой
виноградины соломоновой Песни Песней, – кровь,
танцующая, взрывающаяся в горячем экстазе
восторга звездой Давида и льющая, льющая
прямо в сердце тихий свет милосердия —
обещание младенца – звездой Вифлеемской,
там всплески открытых, пронзительно-ярких красок:
– звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
– мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой
– девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя

Звезды грудастых розочек добрейшего смеха,
выпрыгивающие из-под блестящих каблуков Чарли,
растрепанные невесты, летящие сквозь сиреневые звезды
рассыпающегося цветка на парижских полотнах Шагала,

голубиные души звезд у виолончельных ню Модильяни

—
в лужицах их пустых и бездонных глаз,
там – всплески открытых, пронзительно-ярких красок:
– звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
– мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой
– девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя

4

Звездные дыры Освенцима – желтый немой
шестиконечный ужас, нашитый на грудь
непробудного молчанья вселенной,
но и там,
за звездными колючками концлагерной проволоки,
протянутой сквозь безумный оледеневший космос
страдания,
там
тоже всплески открытых, пронзительно-ярких красок,
плачут тени:
– звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
– мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой
– девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя

5

И вот пока еще не поседело небо с восходом
тусклого солнца, не побледнели и окончательно
не исчезли звезды с горизонта несостоявшейся
встречи, не погибли среди миллионов лет
мирового изгнания родные души,
маленькая, она разбивает свои лучи
на кусочки цветного стекла, чтобы стать
калейдоскопом – живой игрушкой —
для далекого чужого человека,
умирающего на другом конце света
от тоски о несовершенстве создания,
в нем всплески открытых, пронзительно-ярких красок,
плачут зеркальные тени:
– звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
– мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
– девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя

6

Поцарапанное эхо маленькой погибшей звезды, скрип
дешевых цветных стекляшек, скрипичное соло
обманного эха сердца —

в местечковой колыбельной свадебного «навечно»,
эхо,

которое некоторые печальные рыцари до сих пор путают
с шумным величием волн, движимых бледной луной.

ди шатн вэйнен:

– штернэлэх майн, мэйдэлэх майн, фэйгэлэх майн,

– йингэлэх майн, штэтэлэ майн, митн тройрикн
ойгэлэх майн,

– мэйдэлэх майн, фейгеле майн, штернэлэх майн

плачут тени,

плачут тени.

Дверь

Почему-то детства становится меньше и меньше,
не в цене штуковины без смысла – всякие монстры и
духи.

На дверях сизокрылая вязь из побелок и трещин,
вызываю тебя, дух облупленной детской вещи,
в перламутр бинокля, в резную игру шкатулки.

Если дело всего лишь в оправе, в земной опале
взгляда, в коем роднится лупы стеклянная лужа
с яркой радужкой детства в веселом клейме детали...
В детстве вещи, как в зеркале томном – почти недужны.

Вещи все – это космос неведомый, очень страшный,
облюбованный для приключений опасных и странствий.
Я б хотела на крайний случай в зеркальной коробочке
глаза
сохранить этот сладкий, щемящий, как вечность, ужас.

К сожалению, детство не станет игрой или стилем,
ни биноклем, пенсне, театральным волшебным
картоном.

Как к глазку в двери, прижимаюсь к нему, наблюдая мили
одиночества в сером зеркальном глазке напротив.

«По горячим, расплавленным, белым...»

По горячим, расплавленным, белым
хлопьям снега на смазанном фоне,
лиловатом, промокшем – память:
в этом коконе какофоний,
что не стало осуществленьем,
то, что съежилось, – стало снегом,
из горячих, расплавленных – кратер,

черный кратер – под снежным веком
близорукое детство ловит
сквозь ресничные щели – дыры,
дыры черные – что в них будет? —
долго думает птах в постели.

Из горячих, расплавленных – снежное:
будет нотной бумаги много.
Тихо детство мое – мятежное —
репетирует монологи.

Лесенка

Я не умела перелезть через лесенку на детской площадке,
спотыкалась на ровном месте, падала, разбивала коленки,
не любила играть с детьми во дворе, одалживать лук у соседки
и пошла в первый класс вся вымазанная зеленкой.

Ни один из праздников не соответствовал жажде праздника, часто просто не брали, будни уходили на созерцанье жизни сквозь жалюзи, и однажды за окном я открыла, как в прахе ее поют золотые гусли.

Пыль умела и петь, и летать – в этой странной раме.
И отбросив кубики, я выслеживала ее мысли.
А когда ты взял меня за руку и позвал стихами,
я не то что лететь, я сама стала внешней высью.

Вот и всё о полетах, разбитых коленках, луке:
в каждом детстве бывают ветрянки и недовольства миром.
Больше, право, и нет во мне ничего, кроме той застарелой муки
по любви, что летит там где-то, где шрифт – эфиром.

Из теплых пирогов

И я из теплых пирогов, духов и пыли
в окне воскресном,
шумных юбок родственниц, и духов,
сквозь щель дверную мне тянувших свои руки
всё в той же пыли, тех же слухов, тех же слухов,

горя стремленьем сладостным к натуре,
к литературе, к огонькам сюит в камине,
из пыли – возникала и любила
смотреть, как солнце расцветило древесину
настенных книжных стеллажей и как на стуле
гора из томиков спирально и прелестно
до потолка карабкается – место
из детства было тесно и чудесно:
ни дух, ни пыль меня не обманули.

По спуску – вверх – разбитые коленки,
по Маяковскому, по Стенькиному – с Волги
до госквартиры,
а в степях-то – право – были волки,
налево – пятитонки, пионерки...

И я – одна, с синющими глазами;
трамвайный дух, скрежещущий вагон
подмигивают мне: всё вертикально!

Отвесно – скользко – и ответственно – бескрайне
для зайчиков на поручнях времен.

Маленькая Кассандра

Как жить, когда раскрыт любой тайник?
Как пыль живет, когда окно открыто...
В глазах ребенка – солнечной уликой,
что комната безвременьем промыта,
что видим в пыли – свет и что притих
пустырь времен за окнами, но в глянце
небес – звенит танцующим лучом:
в ресничной благодати нипочем
ни Трои гибель, ни коварные спартанцы.

Безумной девочке Кассандре зареветь,
моря размазав по щекам, не так чтоб в горе.
Пророчество ведь не кимвал, не медь —
глаза песка, земная пыль, цветное море.

Крым

М. Цветаевой

Я была в Крыму, как маленький хазар,
вся в песке, в полосочку панамка.
Как и всем, мне в детстве снился флаг
из артековской дешевой красной тряпки.

Но луна входила в детский рай,
заворяживала кровью неизбежность
там, где мальчик вне времен Марине знак —
сердолик — дарил:
собачью верность — за безбрежность.

Берег детства, крабов и медуз,
лунное огниво, сторож пьяный.
От луны и мне не улизнуть:
наизусть — ее молитвы ураганам,

поездам: как страшно, душно — вспять,
нет, не в Крым — в российские тенета,
снежные, как саван и петля.
Всё раздать, чтобы вернуть себя!

Нет. К чему, к кому теперь — об этом?

Пастернаку

*Я вглядывался в строки, как в морщины.
«За книгой». Рильке в переводе Пастернака*

Всего-то и было: ребенку на койке
привиделся в рильковской строчке разбойник:
болтун-соловей. С сотрясением мозга
читать запрещал всем Минздрав – вот загвоздка:
откуда он взялся, святой переводчик
в Поэзию мною зазубренных строчек?
И Гамлетом встал за окном меж растений...
Но принцем – попозже, тогда же лишь тенью,
что в книжках ребенка катила все строчки
за Рильке околицу, где многоточьем
светились оконца, как космос, в закате:
все строчки Поэзией стали в палате
больничной.

А тот малолетка все ходит
с твоим узелком, и ему пароходит
в дождях, в зимних улицах, в зелени парка —
Поэзия: вот ведь – открыл, что цыганка
страшна и прекрасна, как спелая ночка,
вослед этой ночке тот детка волочит
твой узел, распухший от слез и от света:
ведь в чем-то же надо хранить все монеты
задумчивых красок и быстреньких звуков,

кому-то ведь надо приставить, как ухо,
трубу стетоскопа к груди площадью
и Марбурга сказку в страстях голубиных
сыграть – да на шпорах, сыграть – да на шпаге,
в чернилах сирени – на плахе-бумаге.

Когда бы не крала детей у Минздрава
Цыганка-Поэзия, что б со мной стало?

Daimon

Ирине Александровне Кронрод

Я хочу прийти к такой тишине,
где шаги поэтов заворачиваются в кокон.
Бумага, лампочка на стене,
на столе, как положено, недопитый кофе.
Кокон, шуршащий их размышлениями
о времени, о рассеянных школьных минутах,
на переменках свернутых в трубочки вдохновенья,
выплывающих, как в трубочку, воспоминания о
необутых
чувствах, шлепающих под дождями,
о непроходимых чащах детской простуды,
о фройлен Гретхен, классной даме,
о бидонах молочника, стуке писательских ундервудов,
о щиплющих горло спиртовых компрессах,
о портрете учителя в простенькой раме,
о шарманшке, прессе, неизбежном прогрессе
и высокой, высокой маме.
И так, чтобы бабочка моя, голубая, ночная,
плакала о невозможности завершения
недописанного домашнего задания
на столе чьим-то гением¹ забытого сочиненья.

¹ В римской мифологии существовали *гении* (daimons) – личные духи человека;

достижения отдельных индивидуумов указывали на наличие особо мощного гения.

В Петербурге

У изысканной тени в плену, у кружков, завитков
меловых,

в этом камне творожном

ты – туристом меж Росси – Растрелли бездумно застыв,
своим диким раскосом впитаешь всю россыпи роскошь,
в бирюзовых очах отразив без конца, безнадежно
чешую и броню их дворцов – охряных, голубых.

Но в петле заплутав у Васильевской суетной стрелки,
на тебя чем-то очень похожей своей непростой прямотой,
чужеземный стрелок, ты навряд ли поймешь
наши беды и странные сделки,
что в веках здесь вершатся любым из прохожих
с этим градом прозрачным над тусклою, злою рекой.

С этим древним туманом, что был моей первою юностью,
моей детской ветрянкой,
сознания рябью у сизой дремучей волны,
как качаются площади в мороси, пахнет французскою
булкой,
и валятся в обморок улицы в утренней каменной
сутолоке,
и как стынет гранит у воды
да мостами на дыбу истории местной возносит,
и мучат ожившие сны.

И не вдруг ты заметишь
в виньетках соборов, искусстве
и воздухе уккусном
петербургскую, юную, совершенно иную – меня,
образ девочки странной, как знать,
вдруг предстанет, отмечен еврейскою грустью
неизбежных прощений, но всё же еще не уставшей
прощать.

У решеток сквозных, у лебяжьего Летнего сада.
Я жила там.
А ты...

Мимоходом в глаза загляни
и ступай себе с Богом,
мне больше мгновенья – не надо.

Мой – до дыр

Андрею Белому

Аполлон Аполлонович жил на Фонтанке,
в коммунальной квартире,
на кухне три соседских шалтая-болтая
приготовляли яичницу,
Аполлон их недолюбливал
за едкий запах.
Он любил Мойдодыра
и порфиру душистой своей Софии.

Мойдодыр жил на Мойке, писал стихи,
на Фонтанку захаживал в мятом кафтане по
воскресеньям,
Аполлон Аполлонович изобрел для него проспекты и
утюги
(и духи для тех трех шалтаев), кормил бутербродами
и блоковским песнопеньем.

Оба были бедны. Шипела яичница фонарей.
Шалтаи-болтаи возносились над городом желтыми
колдунами.
А через дорогу Белый стоял и плакал, как соловей,
стоял и плакал,
весь был белый-белый от Господа,

над голубым каналом.

Но его не позвали.

«Легкое дыхание разлук...»

Легкое дыхание разлук,
пастушок мой с дудочкой далече,
только звездным блеском вечер мечен,
только сердца одинокий стук:
тук-тук-тук – шершавых ниток ком,
пастораль под пальцами распалась,
улица, фонарь, такси, роддом...
нет, проехали, и ядовитая усталость —
в музыке, невнятной и густой,
мокрые тампоны лазарета
и каким-то чудом тот кусок
коврика с пастушкою в корсете.

И плывет, всплывает – сонный хор.
Нитки рвутся, и режут младенцы.
В питерском колодце жутко тесно.
В мировом – не слаще – в унисон.

Пастораль? Да, видимо, она:
надпостельных ветхих ковриков орнамент,
зданий выцветших подтеки, как пергамент,
человек с тромбоном у окна...

Речь

Я говорю на чужом языке, не вашем.
Знаю, люди меня не понимают вовсе.
Мне отвечают капли в микстуре, и в душе ржавом
краны скрипят, привечая воду. Меня так мостик,
что над болотом завис, поучает: утоп, мол, в травках,
острый чужой язык сжигает меня, как время.
В каждой вмятине добрую дряблую краску
расколупала – на звук, просчитала свой рост на двери.
Каждая выбоина на дороге поет контральто:
это копыто, лошадь, я грусть ее слышу громом.
Так говорит с микроскопом бактерия, память,
и ни один из звуков, что спела б в хоре.

Ангелов? Не было, нет – и не будет здесь откровений.
Греет ногу в прихожей бродячий аист.
Кто-то еще лепечет родной мне речью —
над колыбелью явления,
на грани – счастья.

Гансу Христиану Андерсену

1. Злой мальчик

Снег в жарком яблочке залег: в раю спечен;
на запах дыма в дом прокралась, как разруха,
стрела амурова из голубого лука;
в зеленом стрекоте спит мирно цокотуха,
поэт подставил ей камзолово плечо.
На спицах зонтика снежинок тает запись,
мешаются цвета – зеленый, красный,
дырявый зонтик в крылышках атласных
с гвоздя слетает и летает, как фугаска,
и приземляется в очаг, гвоздю на зависть.

А муху тот поэт рисует белым,
белее Кая, зеркала, слепца,
как музу, что упала и сгорела,
как музыки зелененькое тело,
под пеплом – святочный хрусталь,
и нет конца
лишь понедельному поделнику Лукойе.
Какое время выпало сырое,
когда б не различать добра с лица!

И память здесь – лишь об одной хромой ноге,
в коробочке, где спят рядом солдаты,
подобны балеринам и крылаты,
поскольку все убиты на войне.

Но наш поэт – он очень добр и стар,
и муха на плече его – как слава,
что соловья из зуда крылышка достала
принцессе, коей все казалось мало.
Мой милый Августин, я так в снегах устала,
как вечность в формулах, как пар – во льду зеркал!

Ваятель ангелов, ворон и чайных роз,
мой милый Андерсен, ты сам сказал, что остается
свиная кожа, позолота же сотрется,
но глупый мальчик со стрелой Агапэ² – зол.

Он вечно зол (звонят, как струны, стрелы в ране),
он врет и издевается; забота
о нем не кончится, и снега позолота
хрустит, как яблочко цветное – в птичьем стане.
А сердце? Сердце – в пустоте волшебной
рвется.

² Жертвенная, духовная любовь.

2. Голый король

Я – голый поэт, и я – голый король,
мы можем меняться одеждой,
и только невежда зачтет это в ноль —
все то, что возникнет между

моим королем в изумительной тоге,
расшитой для славы врунишкой,
и этим поэтом, что смотрит под ноги,
стесняясь любого мальчишки.

Познав наготу, он не ведает тяжбы
меж голосом, славой и честью...
А голый король умирает под стягом
рубахи из ниточной лести...

Но голый поэт погрустит и возьмется
опять сочинять свои вирши,
и голым король к нему в гости заходит,
и голый король тенью страшную бродит,
отмщенья он просит, он ночь хороводит,
но Гамлет не слушает: пишет.

3. Герде

Я так хотела почувствовать землю ступней,
ветер плечами и сада струенье – щекою,
в центре ладони чтоб гвоздик звезды золотой,
снег подбородком, губами и воздух – иглою,
я так хотела со всеми земными вещами
быть заодно,
но они не любили меня:
чайник сгорал, отключалась вода в туалете,
блюде летело на пол, пол слезливо ворчал,
и растекалось варенье на темном паркете.

Розы из чайников лезли и сквозь потолок,
люстру толкнув на ходу, выбирались на крышу;
люстра, как снежная сказка, разбита, валялась у ног.
Милый мой Кай,
что мы тут натворили с тобой?
Как хорошо: наша Герда заснула и пеня осколков не
слышит.

4. Девочка со спичками

Что Рождество – всё в бубенцах и с мятой трешкой,

в кармане найденной, что Новый год – тебе?
Гостиных баня, тень боярышни на дрожках,
и снега горечь в полной темноте.

Ямщицкий праздник. До сих пор – холоп в ливрее
нам отворяет Храм, а там – Гостиный двор...

Но чуточку левее, чуть левее
есть стеклышко под ребрышком – в измор...
с ним – колко-колко, и мороз гудит в ночлежке
космической; в овечьей шкуре Год
войдет погреться, скажет: будет все – как прежде,
пусть девочка со спичками заснет!

Так сладко спать! Весь мир, он стал как фантик,
он елкой стал, он – пиром на весь мир!

Чума зимы – и та гуляет в бальном платье!
– Спи, спи, и спички крепче обними!

Карлсон

Подарите мне банку клубничного самого в мире
и пропеллер цветной, для дождей вместо крыши –
зонтом,

много крыш, чтоб сияли, манили и в небо летели,
В серых яблоках лошадь и можно еще ипподром,

и коловую сумку, и в ложечке каплю нектара,
подарите мне пуговиц пару, одну – про запас,
чтобы, с крыши срываясь на ниточке солнца янтарной,
отрывалась она и катилась за синий атлас,

чтобы мне на лету Малыша не терять и, в закрученной
банке

космос весь открывая ему, из серебряной ложечки слов
разбудить тишину, и в волшебной игре, в беспорядке
звезд и красок напомнить, что добрая светлая радость
есть основа всего, но особенно – сказочных снов.

Крылья потных пропеллеров, в ложке бречанье и рокот,
подарите мне в банке клубничной игру и наказ
долететь с этой банкой до – дна, до клубничного бога,
на колесиках, дугах доехать до детской – вне срока,
где звездоу реснитчатой праздник сияет для нас.

Собеседники

Собаки,

положив свои слюнявые бородатые головы на мои колени,

могут рассказать о своей жизни
всё

за три минуты.

Обычно я им отпускаю грехи, сочувствую и даю советы.

Дети

до шести месяцев любят делиться со мной
своими сиюминутными размышлениями:

у нас нет языковых и возрастных барьеров,
и я ничего не имею против знакомого ангела,
спевшего мне из складочки на лице ребенка
старомодную песенку счастья.

Самое главное, что в данном случае обмен информацией
абсолютно адекватен и равнозначен. Что радует...

Кошки

не приходят нас радовать. Они Приходят. Приходят и
ждут.

Смотрят, молчат, ждут,

и если отвечают на твои приветствия вслух, то только
космической песней

и только на самые тонкие вибрации, которые ты можешь

модулировать самым влюбленным (в них) из своих
голосов —

тогда они счастливы;

понимание земной судьбы (не моей, не их собственной)
их не волнует,

кажется, их функция здесь — та же, что у драгоценных
камней и звезд: сиянье мудрости иного дальнего мира,
жаждущее освобождения в тепле человеческого
любовно-выраженного почитания.

Цветы

вопреки всем сказочно-поэтическим представлениям
никогда не говорят о себе.

Но более интеллигентных и тонко понимающих
слушателей

и поклонников вы не найдете во всем мире.

Птицы

(как и поэты)

с людьми не разговаривают вообще.

Они заняты бесконечными разборками в собственном
царстве.

Люди...

впрочем, об этом мне очень мало известно.

Стихи

любимые —

похожи на всех остальных моих собеседников,

кроме, пожалуй, того, что им всегда не хватает
самодельных игрушек для очередного праздника
или похорон
и они,
сразу же после состоявшегося собеседования
отсылают меня за угол стола,
где снова и снова
приходится
то грубыми отвертками, то тонкими ножницами,
а то и булавками пролетающих мимо дождей
и кнопками снегопадов
выкраивать из своего
бумажного сердца давным-давно известные истины.

«О я совсем, совсем не сноб...»

О я совсем, совсем не сноб,
не элитарная эстетка.
меня бросает звук в озноб,
в монисто – каждая монетка.
Из каждой щели – звук валторн:
как выжил лес среди развалин?
в струне порвавшейся – потоп,
из всех веществ мне важно: камень,
железо, малахит, брильянт
способны треснуть и заплакать
и, высморкавшись – хоть в платок,
в рукав, на землю, мир, – растяпой
представить? Может ли, как бог,
как самый древний – выть и квакать
в трущобах строк, в руинах – слог,
страдать он может, верно каркать?
Альтист-душа, душа-кларнет:
сквозь пальцы, дырочки – водицей.
И солнце вовсе не за свет —
за сажу я люблю и спицу.
За сладость сажи, трезвость спиц:
стих лезет в позвонок – под платье.
За чужестранность близких лиц
и губы в ягодной помаде.

«Под мостовой, под каждым камешком – нагой...»

Под мостовой, под каждым камешком – нагой
лежал ребенок. И смотрел – наискосок.

Нет, не туда, где города и годы:

со здания, по краю, водосток

пускал свой дождик; призраки свободы

качались, словно корабли; по мостовой

земля и жизнь спешили в путь, по кругу.

Вот птичка села на оторванный листок

календаря. Малыш лежит, собой напуган —

отсутствием своим в течении вещей.

Век громыхает где-то рядом.

Кто помнит лица маленький детей,

монаду лика, кто обнял свою цикаду

и стрекозу моста – под мостовой?

А фонари стоят, как постовые.

И в перспективу толпы топают, их выи —

в годах, как в камне города слепые.

И маленький под камушком – порой...

Гербарий

Т. О.

В гербарии, в пергаментной бумаге
цветы и кровь, как пятна от помады...
Ах, сколько надо, милый мой, отваги,
чтоб запах калачей и ядра снегопада,
живя в календаре осеннего распада,
в гербарий засушить, разгладив утюгом?

Но девочка-швея не получила роль:
не став актрискою, в провинции всё гладит
чугунным утюгом охапку белых роз —
воротничковых выкроек гербарий
в комод засунут, папироской синей сушит
цветочки, их простуженные души,
и кто-то в двери лязгает ключом,

и страшно так, и музыка играет...
в соседнем баре...
Боже мой... о чем?

Жизнь-малышка

З. Г.

Жизнь-малышка

Прошла, как на овощебазе, где утром ранним
собака лижет ледяную капусту.

Сладка кочерыжка,

но хрустко да грустно, густо, а в общем-то пусто,
мало надежд и мешают миазмы,
хотя периодически выносишь мусор,
и всегда не хватает чего-то – наверно, старанья.

Старенье, однако, не зря говорят, что впадает в детство,
как в реку, где можно себя понежить
неизрасходованной благодатью;
поэтому умирают всегда только дети,
в старческом теле лежа.

Под капустой. На овощебазе. В проходной палате.

Щелкунчик

За Гофмана бокал кривых зеркал,
по граням искра бродит золотая,
я пью, и монстры многих трудных лет
по ободку Новейшего Граалья
танцуют, думая, что здесь приют и свет.

Ты видишь рожи их, крючки, носы, галоши,
дожди и зонтики, дырявые носки:
окончен юбилей всех королей, в прихожей
мышинные шаги, мышинные шаги...

Щелкунчик мой, что скуксился? В бокале
не попадает зуб на золотой зубок?
Постой еще, постой, как холодно в астрале
Германий и Россий, придуманных тобой.

На море всех смертей, в кораблике Венеций,
и там, и там – лишь ветер-пономарь,
а ей все мнится: катехизис да Грааль
чужого сердца, плакальщика сердца.

Еврейский оркестр

Чарли

Он был в первый раз на земле,
в котелке,
в век погромов – какой-то Пыжик.
Ему выжить хотелось, как в страшном сне,
Чарли очень хотелось выжить.

А из куц бровей – многозвездный звон
глаз вращал
из небесной сферы...

Понарошкины дети к Чарли в кино
забредают и слышат – летит стекло,
и лохмотья летят, и сквозь горло – ком
слез,
немой – немой,
и свой домик, свой...
всех крылатых родинок...
– Где он?

Клезмер

Явился Аврааму Бог.

*Авраам возвел очи свои и взглянул, и вот, три
мужа стоят против него...*

Быт. 18

К тебе! Вставай! (Мелодии местечка.)

Да, за тобой: стучатся в нашу дверь.

А ты лежишь, как взвод убитых без осечки
звездой нездешнею, и все, что видишь, – печь...

Не аналоем твои кончатся молитвы,
не виноградную зеленою осой.

Струну сквозь сердце. В узел свиты все пожитки!
Разорваны. Вставай! Вставай – и пой!

Танцуй! Не верь, что я не твой, что Аллилуйя
для ангелов. Она милее палачу.

Из Нового и Ветхого – любую
возьми из капельницы каплю – скрипачу.

– Я Клезмер – гость, бездомный, тощий. Родом
из тех, что там... Я тень, как скальпель, остр!
Познал я до глубин невежество природы,
и от кости моей я даровал достойным – кость.

Нет, я не фарс, не трагик с маскарада.
Меня не принц, а полумертвый привечал.
Я щедро наливал всю сладость рая – аду,
в придачу к скрипке – пусть лучится, как ничья.

Лепечет с миром. И с войной.
Сейчас – ни тот, ни эта,
слепой звоночек бьется в твой порог:
– Я, Клезмер, стар. Я самый неприметный,
сердечник, с палочкой, в трех лицах. В общем – Бог.

Имя

Папе, маме

*Хоть под дождем и без гроша в кармане,
Хоть в Судный день – с иголкой в гортани.*

Арсений Тарковский

Это ничем не залечишь,
Когда на имя – запрет,
Когда имя – это пустыня,
Повод к погрому, бред.
В первой речи затычка,
Кличка ребенку – жид.
Имя – как перемычка
Между: любовь и стыд.

Там, где ты звездочкой маешься,
Любишь маму да папу,
В три ли, четыре – память:
Срам в перстенечке – в лапе
Улицы, двора. Софочка!
Лакомство барское, липкое,
Имя мое в форточку
Бабушка сдуру выкинула —

В бой – в кулачки детские...

Позже отдернет мальчик
руку, как от лягушки, —
Сердце
Женщина спрячет.

Встречи все – с ядом по донышку:
Будут при встречах лица
Быстро меняться. Кто ты?
Вечное – не устыдиться б!
Вечное – не испугаться б!
Русью воспитано – в волки,
Имя, гори – не гасни
В глотке ее – иглой.

Мудрость —
с подкладкой вырванной.
Имя мое – Сара!
Зря не назвали. Выжгло!
Зря не назвали. Даром —
Всем словарям. Оплачено
Сарой – и имя, и отчество.
Мудрость от греков – ласточкой.
Сара – пророчеств вотчина!

Девы: софии, веры,
наденьки, любочки – мудростью,
Сара – во всех словосферах

Имя мое русское.

Конармия

Что умеет делать еврей?
Он умеет плакать,
говорить «ой»,
отвечать на вопрос вопросом,
посыпать голову пеплом
на все семь траурных дней
и проблемы с сыном иметь
в году високосном,
протирать мозги у столетий
кошерной тряпкой,
как алмазный Бабель – очки,
и от пыли – свет, чтоб лучились скрипки,
и накручивать пейсы. Маркс и Со.
кто этого делать не мог,
тараканами стали в «Замках»,
остальные – от тараканов же —
послужили долгожданной прививкой.
Черным углем отбеленные
кони,
смотри – на красном!
Цадик Боренбойм,
Бабель и Кафка,
и Визель Эли...
Что умеют они?
Кричать и петь: это горький праздник!

(«Ночь»³ – от мира сокрыты их семидневные двери.)

³ «Ночь» Эли Визел – книга воспоминаний о Холокосте.

Рембрандт

Всё меньше пестроты. Земли и праха – больше.
Глубин коричневых. Всё мягче блеск – он дым;
он нежен, как цветок, из уголька проросший
сквозь грубость века. Старый мастер, юный сын
Голландии, всем бюргерам – во славу
портреты создававший... Занесло
на старость лет из центра Амстердама
в еврейский пригород, где горькое вино.
И бедность, бедность. И в шкатулке – не сапфиры:
рубины бывших всех и будущих костров.
Где Амстердам таил свои нарывы,
библейской краской проступала в лицах кровь.
Смирением сияла в капиллярах.
И в трещинах всей прямоотой – анфас —
смотрела пятка.
О, какой тропой до божьей драмы
прозрачных рук, что обнимают нежно нас,
Рембрандт прошел —
сквозь мрак, сквозь бред, сквозь почву,
сквозь скорбь Слепца?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.